

К.М.Станюкович. Собрание сочинений в 10 томах. Том 9. //Правда,
Москва, 1977
FB2: Vitmaier, 2008-05-23, version 1.0
UUID: 9af964e6-7fac-102b-9c90-12cbc7843eac
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

Форменная баба
(«Морские рассказы»)

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0011
III.....	.0020

**Константин Михайлович
Станюкович
ФОРМЕННАЯ БАБА**

— Это ты, Егорка, про вдову Аришку? — властно спросил, подходя к двум матросам, притулившимся у борта на юте, молодой, красивый, черноволосый матрос Александр Дымнов, казавшийся еще красивее при свете полного месяца, заливавшего своим серебристым светом и океан и палубу «Голубчика», который под всеми парусами спускался на юг, направляясь к Индийскому океану.

— Про нее! — отвечал, несколько робея, белобрысый матросик Трофимов, которого Дымнов называл Егоркой.

— Не видал ты, значит, настоящих баб, ежели обожаешь Аришку. Какая это баба? Это, прямо говорить, кура, а не баба... Ке-ке-ке... Только и кудахчет... да знай норовит с матроса лишний грош за лук содрать. Торговка, а не баба... И Иудинская... С «крупой» тоже зенками вертит... Ей все равно, что смола, что крупа! [1] А ежели ты баба флотская, так и будь флотской.

— Это ты, Дымнов, вовсе здря виноватишь Арину. Она баба ласковая! — заступился Егор-

ка, несколько обиженный презрительным отзывом о молодой торговке, пленившей, в числе многих, и его.

Вдобавок две ситцевые рубахи, подаренные ею Егорке накануне ухода «Голубчика» в кругосветное плавание, в значительной мере подогревали память о доброте и ласке Арины, напоминая вместе с тем добросовестному и благодарному матросу и об его клятвенном обещании исполнить ее просьбу – привезти ей из «дальней» шелковый платок с «жарптицей», какой привозил один матросик ее конкурентке по базару, «белобрысой Дуньке», и супирчик с Цайлон-острова.

– Мне что твою Аришку виноватить? Я ею не занимался... Начхать мне на таких баб! – высокомерно произнес красавец матрос. – Небось, и тебе две рубахи подарила, а вместо их: «Привези, мол, Егорка, на память гостинцев!» Не тебя одного, простоту, она этими рубахами обещала... Никакой настоящей прикровенности в ей нет... Что Кузьма, что Архип... Только гостинцы бы ей возили... Корыстная душа... А ты и раскис: «Аришка да Аришка!..»

– Ты, небось, знал лучше Аришки!..

– Я-то? – хвастливо переспросил Дымнов.

– Ты-то.

– Перед той бабой, какую я знал, твоя Аришка, прямо сказать, ничего не стоит... Да такой бабы тебе никогда и не узнать...

– Это почему?

– А потому, что моя Нюшка форменная баба, и не по твоей она трусости...

– В каких это смыслах понять?

– А в таких, что из-за бабы ты и пятидесяти линьков побоишься принять, а не то, что в неделю по две сотни!

– Я и так до смерти боюсь линьков, а то еще из-за бабы!.. Вовсе и не стоит баба, чтобы из-за нее да пороли... И ты чудно что-то обсказываешь, Дымнов! – испуганно и недоверчиво проговорил Егорка, слишком тихий, спокойный и робкий человек, чтобы допустить даже в помыслах такую несообразную complication [2].

– То-то я и говорю, что тебе этого не понять! – не без снисходительного презрения кинул красивый брюнет.

– Довольно трудно понять... Небось, и ты

сам этого не поймешь...

– По-ни-мал!.. Очень даже хорошо понимал... Из-за самой этой Нюшки меня стращали скрозь строй гонять, а насчет порки нечего и говорить... Всыпывали довольно даже часто... Всего бывало!

– И ты не бросил этой самой бабы?

– Глупый ты, Егорка!.. Бросил?.. Я не только не бросил, а чем больше пороли меня из-за Нюшки, тем она мне любее становилась... Можешь ты это себе в понятие взять?.. То-то не можешь... Потому в тебе никакой отчаянности карахтера нет, и никогда ты настояще не был привержен к бабе...

И Дымнов хотел было отойти, находя, что и то, что он сказал, было достаточно, чтобы произвести на товарищey импонирующее впечатление, но Егорка, втайне во всем завидовавший Дымнову, хотя и очень расположенный к нему, проговорил:

– А ты, Дымнов, объясни про форменную бабу-то... Расскажи, как это все вышло у вас и по какой-такой причине тебя за нее пороли.

– Напрасно тебе это и объяснять. Все равно не поймешь...

– Может, и пойму... А ты расскажи.

– Я и сам знал тоже одну такую же занозистую бабенку! – начал было другой матросик, доселе не проронивший слова. – В горничных у нашего экипажного служила... Ну и заноза, я вам скажу, братцы!..

– Та-ку-ю!? – перебил Дымнов, взглядывая не без презрительного изумления на человека, имеющего дерзость сравнивать кого-нибудь с «форменной бабой». – Такую! Дурак ты, Антонов, дурак и есть!.. Такую!?.

– Да ты за что лаешься-то? – спросил поклонник занозистой горничной.

– А по той причине, что твоей этой самой занозе так же далеко до такой, как отсюда до берега! – ответил Дымнов и взмахнул рукой на океан, кативший свои большие волны, обозначавшиеся во мраке ночи седыми верхушками.

– Ты нешто ее знаешь?

– И знать не желаю.

– Так как же ты можешь об ей полагать?

– То-то могу.

– Это еще почему?

– А потому, что такой, как Нюшка, нет и

быть не может другой. Понял?

В убежденном и властном тоне Дымнова звучала такая восторженность, что оба матроса невольно притихли, словно бы внезапно понявшие действительное превосходство той женщины, о которой так горячо говорит матрос, несмотря на то, что из-за нее его пороли.

– Так Расскажи нам про свою Ньюшку! – снова попросил Егорка.

– Расскажи, Дымнов, уважь... Должно быть, очень облестительная баба. И прозвище у ней чудное: Ньюшка!

Вероятно, не столько эти просьбы, сколько потребность поговорить о женщине, вызывавшей сильное чувство, с молодыми ребятами, которые не осмелятся отнестись с насмешкой к сердечным признаниям, заставила матроса согласиться.

– Уж так и быть, расскажу вам про Ньюшку, чтобы вы могли хоть слышать, какие на свете бывают форменные бабы! – проговорил Дымнов уже не прежним резким тоном, а мягким и значительным, словно бы заранее стараясь расположить слушателей к героине своего романа.

И, присевши к борту, Дымнов покрутил усы и начал:

— Это я прозвал ее, братцы, Ньюшкой, а звали ее все Анной Гавриловной, потому как она во всем своем парате, при серьгах, с бруслеткой и в кольцах жила вроде быдто экономки у капитана первого ранга Ухватова. Он моим экипажным был и командовал кораблем «Нетронью» [3]. Небось, слышали?

— Его еще бабьим боровом звали! — заметил Егорка.

— Он самый и есть. Лысый, чижелый, брюхастый, прямо сказать, боров, а туда же: на любовь льстился. Не понимал, что это ему не к рылу, и по своей дурости полагал, что можно через деньги настоящую приверженность получить. Очень обожал экономку. Ничего для нее не жалел. Рядил, как паву.

— А из каких она была? — спросил Егорка.

— Писаря Авакумова жена. Тот на деньги польстился: сказывали, две тыщи за нее взял и от правов отказался. Ну, и Ньюшка из антиреса в экономки пошла... Думала сперва, что очень это лестно вроде барыни быть да своего лысого черта вроде как турецкого султана

ублажать... И жила она у его таким манером год, ровно заключенная. Никуда Ухватов ее не пускал... Страсть ревнивый был... И обожал ее больше да больше... Все надеялся, что Нюшка не из-за денег с им будет хороводиться... Но только напрасно... Без экономки остался!

Матрос проговорил эту фразу с злорадным торжеством. На его красивом лице сияла победоносная улыбка.

– Отбил, значит, у экипажного? – сочувственно и в то же время изумленно спросил Егорка, проникаясь необыкновенным уважением к Дымнову.

Он хорошо знал, что Дымнов был мастер облещивать баб, и что кронштадтские торговки, горничные, кухарки и матросские жены бывали неравнодушны к красавцу-матросу. И рады были, если он обращал на них внимание. Но отбить полюбовницу от самого экипажного – это представлялось Егорке чем-то особенно блестящим и смелым. И чем менее способен был он сам на такую «отчаянность», тем сильнее восхищался, втайне завидуя ей.

– А ты думал, трусил? Небось, из-за Нюш-

ки я бы и черта не испугался, а не то что экипажного командира. Сделай, братец, одолжение! А увидал я ее поздней осенью, как теперь помню, в октябре месяце. Назначили меня ординарцем к Ухватову на тринадцатое число. Ребята, кои раньше ординарцами ходили, предупреждали: – «Не пяль, мол, глаз на экономку, ежели увидишь, и не отвечай ей, ежели что спросит, а то экипажный, коли заметит или узнает через старую куфарку, – это вроде ведьмы была приставлена, – изобьет тебя в лучшем виде за то и велит отшлифовать – придерется за что-нибудь! Были, мол, такие дела». – «Ладно, – говорю. – Что мне палить глаза на ухватовскую любовницу. Баб, что ли, мало про нашего брата!» Явился в восемь утра к ему на квартиру – он в офицерских хлигелях жил – и дежурю в передней. Этак в десятом часу вышел из кабинета. Евойный вестовой подал ему пальто – в экипаж идти. Посмотрел это Ухватов на меня пронзительно так и сказал: – «С места, такой-сякой, никуда не отлучаться, а не то... запорю. Понял?» – «Понял, вашескобродие». – «Хорошо понял?» – «Точно так, вашескобродие!» И

опять смотрит на меня, разглядывает, точно никогда не видал. И, вижу, глаза злые-презлые. Ушел и, уходя, опять на меня обернулся и опять сердито посмотрел. Понял, видно, боров, что я не лыком шит, а матрос молодой. Опасался, значит, как бы экономка не обмолвилась со скуки словом с ординарцем. Хорошо. Сижу это я себе на рундуке в прихожей, и курить до смерти хочется, а курить боюсь – как бы запаху матросской сигарки не оказалось. Тихо кругом. Вестовой комнаты убрал и ушел себе на кухню, а я томлюсь, можно сказать, из-за того, что покурить нельзя. Наконец не смог терпеть. Вышел на парадную лестницу и наскоро выкурил сигарку, и будто полегчало... Вернулся, сел на место, как скрипнули из комнаты двери, и вошла Нюшка. Вошла, братцы вы мои, и как взглянула, ровно бы меня ганшпутом [4] по голове съездили... Вовсе в расстройку пришел. Встал это я и на нее гляжу, а самого в краску бросило. И даже чудно показалось. Знал я довольно много баб и ни одну не боялся, а эта словно бы ошарашила.

– Больно хороша была, что ли? – нетерпе-

ливо спросил Егорка.

– Прямо-таки... пронзительная! – восторженно ответил Дымнов. – Другому, может, она и не хороша была, а для меня во всем свете лучше не было... Так от ее взгляда словно меня кипятком обдало. И в тот же секунд почувал я, что тут мне крышка из-за этой самой экономки. А из себя она была, братцы, чернявая и телом не товаристая, а так, в плепорцию... и на ходу легкая-прелегкая, словно кошечка. И моложавая, хоть ей около тридцати было. Однако этих годов не оказывало. Глядит это она на меня. А глаза у Нюшки – как уголье, черные-пречерные... и приманчивые... Видит эту мою расстройку и смеется глазами... Играет ими, значит... «Здравствуйте, – говорит. – Вас как звать, матросик?» Пришел я немного в себя и даже в досаду вошел, что я перед экономкой оказал себя таким, можно сказать, желторотым галчонком, и довольно даже грубо ответил, что зовут меня Лександрой. – «А по батюшке как?» – «Лександра, говорю, Иваныч». – «Так это вы, Лександра Иваныч, такой опасный мужчина есть, как я слышала!?» – «Я самый, говорю, если вам вгодно

знать!» – Смеется. – «Вы, говорит, видно, курить ходили. Так вы не ходите. Я вам сейчас хороших папиросов принесу. Здесь покурите». – «Свои, мол, сигарки люблю. Чужими не занимаюсь». Присела на рундук такая, я вам скажу, форсисто одетая. Золотая бруслетка и кольца на белых руках... И от нее запах хороший идет. Сидит это, посмеивается, а сама прислушивается, как бы кто не вошел, ровно куличок на болотце. Просидела этак с пять минут, поднялась и говорит: – «Однако прощайте, Лександра Иваныч. Очень, говорит, рада была бы подольше с вами поговорить, но только за вас боюсь. Достанется вам, ежели Петр Ильич узнает, что я с вами разговариваю... Он у меня, говорит, ревнивый, вроде паши турецкой. Небось, слышали?» Сказала и руку подала... А рука у нее белая и ровно пух мягкая... И так она меня в задор взяла, что я за руку ее держу и говорю: – «За меня не опасайтесь, Анна Гавриловна... Посидите, ежели сами не боитесь, а я не боюсь. Пусть достанется!» – «Это вы только так говорите!» – «А вы, говорю, испытайте, вру я или нет. Посидите». – «Отчаянный вы однако. Я таких люб-

лю!» И снова присела... И стала она говорить про скуку жизни своей, как вдруг вскочила и в комнаты... А вскорости куфарка у дверей. – «Не видал ли, матросик, Анны Гавриловны?» – «Не видал», – говорю. Ушла ведьма... А Нюшка из кабинета выглядывает и белые зубки скалит. – «Жалко мне вас, Лександра Иванович. Попадет вам из-за меня». – «С большим, говорю, удовольствием из-за вас все приму!» – «Посмотрю, говорит, верно ли вы говорите, а пока что до свидания... Очень рада знакомству. С вами весело». – «И с вами, говорю, весело». – «Как бы не стало горько... Вы больше и не захотите меня видеть... я очень даже уверена... Петр Ильич жестоко вас накажет!» – «Как бы ни наказал, а видеть вас, Анна Гавриловна, для меня один, можно сказать, восторг! Может, когда и выйдете на улицу, а я вас сторожить буду». Назвала грубьяном, а глазами облещивает, привораживает быдто. И как скрылась, словно темно вокруг стало. Вовсе сразу меня обанкрutiла... Ушел и я в казармы обедать и, как вернулся, Ухватов уже дома и целый день никуда не выходил. Однако после обеда, когда он отдыхал, Нюшка по-

казалась на минутку. – «Так очень хотите меня видеть?» – спросила она. – «Очень», – говорю. – «Так я послезавтра утром в десять часов со двора пойду. Может, и увидите!» С тем и скрылась. А в восемь часов ушел я с ординарцев сам не свой, будто потерянный из-за этой самой Ньюшки... Ну, на следующее утро была разделка. Экипажный зашел в нашу роту, велел ученье сделать, придрался ко мне и приказал дать пятьдесят розог. Это была, братцы, первая вспышка за Ньюшку!.. Однако и покурить пора!

С этими словами Дымнов встал и ушел на бак.

– Отчаянный этот Дымнов! – проговорил Егорка.

– И Ньюшка эта отчаянная! – вымолвил Антонов. – Я бы с такой бабой не связался! – прибавил он.

– То-то я и говорю... Не стоит баба того, чтобы из-за нее на рожон лезть...

– Облестила, значит, с первого раза... Ну и правду сказать: форменный мужчина, лестный бабам... Красив, шельма... Недаром в Бресте французинька за им на клипер приезжа-

ла... Втюрилась...

Через несколько минут пришел Дымнов, уселся и продолжал:

— Отпросился я у фетьфебеля и в десять был у офицерских флигелей... Вскоро-сти вышла Нюшка... Я за ней в отдаленности иду. Завернула она в проулок... пошла тише... Я к ней. Поздоровались. Смеется. — «А вы и вправду отчаянный... Не боитесь. И наказывали вас, а вы пришли... Ну, теперь лучше уходите, а то, сохрани бог, узнает Ухватов, накажут вас больше». И опять меня этими словами только в задор привела. А я не только не ушел, а следом за ней с полчаса времени шел... Нюшка обернется, видит — я тут, и смеется, а мне и весело... Только у самых хлигелей наткнулся я на экипажного. Остановил. В зубы. — «Ты, говорит, зачем не в казармах?» И не дал ничего обсказать. Тую ж минуту велел идти домой, а через полчаса меня уж разложили... Была здоровая сыпка... Так, братцы мои, лупцевал он меня раза по два в неделю. А раз даже страдал, что скрозь строй прогонит. Учужал, что Нюшка мною занимается. А я терплю... И все думаю, как бы мне только увидеть Нюшку.

– И видал?

– А то как же. Всячески услеживал. На черной лестнице сторожил. Мимо окон ходил. Пропаду, думаю, а Нюшку покорю... Так прошел месяц, прошел другой... И, видючи, сколько из-за нее я принял мученьев, поняла она мою приверженность и велела приходить к ей вечером, на святки. Борова, мол, дома не будет, и вестовой со двора уйдет, а кухарка будет спать. И я, говорит, тебе сама двери парадные открою. Постучи. Только помни, говорит, ежели Ухватов признает, он тебе не простит. Ежели, говорит, не побоишься, значит, любишь, и я тебя, отчаянного, любить стану. Это она испытывала, значит. А я в радости и слов не найду... Однако на черной лестнице облапил ее да в губы... Жди, мол, буду. Ну и на другой день вечером: «тук-тук!» Отворила... И ласковая такая... Ушел я от нее, ног под собой не слышу, а на другую ночь опять к ей... стучусь... Впустила... Боров спал... Увела меня в свою боковушку... Ласкает. Путались мы таким манером недели две, и без Нюшки мне ровно не жить... Но только обидно, что она все при борове. Так обидно,

что в тоску вошел и говорю ей: – «Брось своего подлеца, а не то я вас обоих прикончу». – «Будто? – смеется и еще дразнит: – А вот, говорит, ты уйдешь, я к борову пойду, его приласкаю. Он тоже любит меня!» Ну, тут я осатанел и избил Ньюшку... – Не шути, мол, так. Избил, а потом жалко стало. Прощения прошу, а она зубы скалит. «Никого, говорит, не любила так, как тебя. И докажу!» – говорит... И доказала, потому что форменная баба была... После праздников прибежала в казармы. «Пойдем, – говорит, – я на вольной квартире живу. Ушла я от борова. Не могу больше его выносить. Стану, говорит, по швейной части заниматься...» И вечером обсказала мне, как Ухватов капиталом ее соблазнял, как в ногах валялся: «Не уходи, мол, Аннушка. Люби меня!» А Ньюшка все отвергла... Вот, братцы, какая она была... Небось, такой другой нет! Верно ли я говорю?

- На редкость баба! – проговорил Егорка.
- Привязчивая! – вымолвил Антонов.
- А экипажный после того что с тобой сделал? – спросил Егорка.
- А под Новый год приказал отодрать меня

до бесчувствия за отлучку из казармы. Вот что он сделал. Неделю после в госпитале отлеживался. Нюшка приходила... жалела... И пропасть бы мне, братцы, вовсе из-за Ухвата, да бог спас. В самый Новый год произвели его в адмиралы и послали в Средиземное море начальника эскадры сменять. Вскорости он и уехал... И отдышка мне вышла... И стал я, братцы, самым счастливым человеком... Во всей любовной покорности была Нюшка... Так год мы с ней прожили... И был я ей самый верный человек...

Дымнов примолк и задумался.

– Как же ты ушел от нее в дальнюю?

– Из-за нее и ушел. Сам просился...

– Почему?

– А так... расстройка между нами вышла! – нехотя ответил Дымнов, не имея доблести признаться, что Нюшка через год бросила его, влюбившись в одного мичмана.

Он вспомнил это и, несмотря на то, что обида еще жила в его сердце, с восторженной задумчивостью проговорил:

– Да, братцы, форменная была баба!

1899

В старину матросы звали солдат «крупой», а солдаты матросов «смолой». *(Прим. автора.)*

[^^^]

Компликация – запутанность (*лат.*).

[^^^]

«Не тронь меня». *(Прим. автора.)*

[^^^]

Гандшпуг – деревянный рычаг, употребляемый на судах. (*Прим. автора.*)

[^^^]